

6 августа 1984-го года был понедельник, а разрешение на мой арест, как я увидел, было выдано 3-го августа, но КГБ в субботу и воскресенье меня "особо опасного государственного преступника" не арестовывало; отдохнув в выходные, арестовали в понедельник; я же работал, был на службе и в субботу, проводил занятия, и в воскресенье, а в понедельник в 5.50 был на службе.

101-я камера Лефортовской тюрьмы поразила меня чистотой и даже каким-то уютом, обжитостью. Я ожидал увидеть грязное, неоштукатуренное, с дурным запахом и насекомыми помещение, но это была чистенькая небольшая комната. Когда открылись двери, с топчанов встали двое молодых мужчин, примерно мои ровесники. Дверь сзади глухо хрящула, я улыбнулся им, а они зацвели радостью /со временем и я понял, какое это важное событие - увидеть человека с воли или просто нового человека/.

Меня привели на освободившееся место, в этой камере неделю назад умер какой-то партийный и государственный чин по фамилии Тарада, именно поэтому лучшее место у окна в душной камере ребята не заняли, а предпочитали спать ближе к парапету /унитазу/, но не на месте умершего. Арестован я был в день бомбардировки города Хиросимы. Записи своих впечатлений, увиденного, услышанного я начал делать на следующий день после ареста и вел их до последнего дня пребывания в Лефортовской тюрьме. Они были отобраны у меня в конце марта 1985 года при отправке в Мордовский "Дубровлаг", поселок Барашево.

Первые мои записи были, видимо, об испытанном мной чувстве свободы, освобождения. КГБ освободил меня не только от должностных обязанностей командира роты, но /и это было главным/ от постоянного несогласия моих убеждений с моей тогдашней жизнью, разрешить которое самому мне не хватало личного мужества. Я ведь так и не сделал ни одного гласного политического заявления.

День ареста запомнился особенно хорошо. От следователя привели меня в подвальное помещение - камеру. Трое молодцов, нижние чины КГБ раздели до гола и стали вынимать содержимое карманов моего офицерского мундира. Они поставили меня в угол, а сами тщательно мяли все рубцы и швы армейской формы. Я стоял униженный, уже виноватый и жалкий перед преимуществом одетых и сильных. Они были, по своему положению в стране, сильнее всех, и армия им - трухлявый пень, ибо пронизана она бы-

лы ими, как все общество, государство, множеством щупалец.

Если во всем мире террористы, отдельные преступные лица или группы устрашают, шантажируют государства, то в СССР терроризм наоборот – государственные органы КГБ через суровые кары над неугодными, инакомыслящими, отдельными людьми терроризируют весь народ, вгоняя его в рабский страх, заковывая в идеологические вериги. Что есть Истина они знают, присвоили себе это право и судят: священников, ученых, военных, рабочих, литераторов, юношей и старцев 80-ти лет, мужчин и женщин за "заведомо ложные, клеветнические измышления".

Итак, камера следственного изолятора /СИЗО/ КГБ СССР – Лефортовской тюрьмы. Говорят, при Екатерине II были построены Лефортовские казармы, а нынешняя тюрьма была первоначально двухэтажным зданием армейской гауптвахты. Построено оно было в форме буквы "К". Здание перестраивалось, достраивается и сейчас, в подвалах хозяйственные помещения: баня, прачечная, склады, карцеры. Сверху пять этажей камер, кажется, по 50 камер на этаже и шестой этаж – камеры без крыши, затянутые сверху мелкоклетчатой сеткой – прогулочные дворики.

Внутри корпуса здания, где расположены камеры, между этажами перекрытий нет, вместо них натянута кружная сетка, а вдоль стен с дверьми в камеры – длинная паллерая с мягкими дорожками – трапами для надзирателей, которые ходят по этажам, каждую минуту–полторы, заглядывая в "глазок" в двери. К тюремному корпусу примыкает и пристроенный в сравнительно недавнее время следственный корпус, где множество должностных кабинетов этого следственного и карательного ансамбля. Меня водили на третий этаж в 359 комнату-кабинет и 360-ю, где один или, иногда, несколько следователей допрашивали, шантажировали, угрожали, обещали: "Отдай книги – ничего не будет" или "Признай вину, напиши заявление, и двери тюрьмы откроются".

Тюрьма эта совершенствовалась строительством, учитывался следственный опыт, совершенствовались и условия содержания, все больше отвечая требованиям тайны, безмолвия, мрака. Я думаю, что это единственное заведение, не подвергшееся застою. Оно всегда пестовалось, оснащалось электроникой новейшей, укреплялось лучшими кадрами /у многих назирателей я видел институтские или техникумовские значки/. В усовершенствовании тюрьмы использован и боязный, изощренный опыт узников. Сетки-перекрытия позволяют иметь визуальную связь со всеми надзирателями одновременно на всех этажах и во всех трех корпусах. Так не оставили возможности узнику покончить с собой – вязла страхом.

вочные сетки или решетки. В нижних старых, расположенных еще на земле прогулочных двориках над ними высились здания тюремных корпусов с классическими квадратными тюремными окнами, разделенными на меньшие квадратики толстыми и ровными прутьями решетки /в точности такими рисуют на политических картинах в газете "Правда" чилийские или другие "ихние" застенки/.

В камеры небольшие двери, обитые железом, с маленьким застекленным "глазком", который закрывается снаружи вращающимся кружочком, и вырезанным квадратным люком - "кормушкой" со специальным замком-опорой, когда зэкам через эту кормушку подают пищу или бумагу, или другие вещи, крышка люка служит столиком, открытая, она не отвисает вниз, а опирается на кронштейны. Крышка эта такой же толщины, что и двери и, когда она закрыта и плотно, без щелочки прилегает в своем гнезде, двери, такие прилегающие к своей раме в стене, становятся сплошными и гладкими, так что никаких звуков четких из коридора не услышишь а уж вкрадчивый шаг надзирателя по ковровым дорожкам и подавно, он всегда внезапно смотрит в глазок или тихо подслушивает под дверью разговор в камере. Рядом у надзирателя стоит специальный столик-тумбочка с толстой тетрадью и парою авторучек, где он, видимо, помечает услышанное и увиденное и записывает любое подозрительное действие узника в камере /например, узник попросил иголку пришить пуговицу - это запишут, и начальник режима будет знать об этом/. И это помимо прослушивающих устройств. В тюрьме тихо. Из камеры слышны некоторые звуки из внутреннего корпуса - это звон металлической посуды перед раздачей пищи, звуки какого-то долбления, злопки закрываемых дверей или "кормушек". Все разговаривают там вполголоса, и разговоров не слышно.

Камера напоминает келью шириной около 2-х метров, вдлину около 4-х /я был за два посещения в 101, 30, 26, 25, 34, 47-й камерах: с 6-го августа 1984 года по 23 марта 1985 года и с 26 февраля по 26 марта 1987 года, и все камеры были практически одинаковыми/. Панели, крашенные в светлозеленые или голубые тона, белые стены и потолок. Разное количество топчанов: в 34-й камере, один, забетонированный в пол, как, впрочем, стол и стул и по три в других камерах. Топчаны - металлические "шконки"^{1/}, сваренные из уголковой стали и металлических полос, - двух из 1/ так их называют в тюрьме.

них ставились вдоль камеры у стен, и один поперек - под окном. У стены, ближе к двери, прикрепленный к стене умывальник из эмалированой толстой жести, один желтый кран с холодной водой и унитаз - "параша" - перевернутый чугунный конус с деревянным кругом и провонявшей крышкой из фанеры.

Два узеньких столика с фанеркой внизу, между ножек, как в этажерке, и один табурет. У самых дверей стоит пластмассовая миска для мытья полов^{1/}, в нее же собирается мусор дневной, да тряпочка на полу. Пол мыть требовали ежедневно, протирать двери, панели, подоконник, топчаны, столики. В камере было чисто, "для порядка" делались иногда замечания проверяющим врачом, фельдшером, но при мне за плохую уборку или неуборку не наказывали никого.

Некий П-й говорил, что его сажали в карцер за то, что на очной ставке со свидетелем своим он передал следующее: "Леня - работник КГБ", других случаев официальных наказаний в Лефортовском СИЗО мне не известно. Старый зэк, в который раз сидевший Михаил Е. говорил, что в кабинете у следователя пили чай с бараками, но, когда следователь Евгений Евгеньевич, кажется, говорил, что они нашли шпионский контейнер, принадлежавший ему, М.Е. говорил: "Леня, вот этим чаем с подстаканником как дерябну тебя по мозгам за такие вещи. Какой контейнер? При чем здесь письма Буковского?" /Ему писал когда-то письма В.Буковский, который вытащил его из петли в ленинградской "психушке" и был ему, старику, образцом в жизни, тепло вспоминал о нем, говоря: "Вам до него далеко всем"/. Однако, М.Е. только угрожали карцером, но не сажали. Он был болен, слаб, но ему дали /как сказал мне наш общий прокурор Устенко/ 10 лет за "взятку лошадью" /подарил лошадь какому-то директору комбината стройматериалов/ и за выступление на суде в тогдашнем Казахстане при Кунаеве /это меня так предупреждали перед судом на счет выступлений/.

Охраняют тюрьму одновременно около 30-40 прaporщиков и офицеров. Все дюжие. Мне насильно брали усы со смирительной рубашкой, которую не применили, а только показали, развернув, и держали в руках, пока брали, но и это не официально. Надзиратели с корпусным, без медицинского работника, без парикмахера и без уведомления прокурора по надзору, как положено по

1/ Однако полы мыть приходилось большей частью из раковины, закрывали лоскутом бумаги в ней отверстие, набирали воды, а после уборки раковину мыли мылом.

закону, а так, по своей воле, от желания воплотить ощущение власти над нами, зэками.

На топчаны в камеру на каждого узника выдается один матрац из ваты, довольно потоптанный и тонкий, так что через него металлические полосы врезаются в тело, одну подушку небольшую с наволочкой, одно байковое или "счастливое" шерстяное одеяло, почти все выношенное и просвечивающееся и одну простыню /хоть укрывайся, хоть клади на матрац/. Я долго не мог понять, почему только одну простыню, оказывается по инструкции, чтобы веревку не связывали, хотя все камеры, кроме 101-й были на первом этаже, но, наверное, чтоб зэк не удавился.

В камере есть еще полка для продуктов на несколько ячеек - "телевизор" и инструкция - "Правила для находящихся под следствием в следственном изоляторе КГБ СССР - "икона" /зэки дали названия всем этим вещам/. Висел на нитке и календарь, где каждый вечер зачеркивался прошедший день.

Утром в 6 часов командуют голосом и включением другой лампочки "Подъем". Дежурный по камере приступает к уборке, вытирает ворсинки от матрацев и одеял по полу, чистит кран, отдает в открывшуюся дверь мусорщикам остатки хлеба из коробочки в одну корзину и мусор - в другую. Мусорщики, два зэка, молча, при надзирателе, ставят большие корзины у дверей, мы высыпаем в них, и дверь захлопывается. Но мельком посмотреть на них тоже было развлечением. После этого надзиратели спрашивают в "кормушку", будут ли письма на отправку /кому это разрешено или администрации - без лимита/, заявления на книги, стирку, встречу с должностными лицами и т.д., которые мы сдаем с утра, а к вечеру, после ужина обычно изм дежурный главный надзиратель - "корпусной" - отвечает, показывая визу или заявления или квитанцию на отправку письма. Затем врач ходит, раздает лекарства, пилюли /"колеса"/, но пилюли уже толченые, в бумажке и смотрит, пока зэк не проглотит и не запьет при нем. К восьми утра обычно сам надзиратель с другим надзирателем разносят сахар и ~~сыр~~ хлеб /некоторым белый, я видел в общей коробке нарезанный, возможно диетчикам/. Открывается кормушка, мы подаем бумажку, и он специальной меркой, снимая горку, высypает в кучку две-три положенные нормы по 10 грамм сахара. Затем спрашивает: "Хлеба сколько? Прикинули - четыре куска! Это больше полбуханки. Хлеб нарезан крупно, спешно, на шесть-семь кусков буханка, но он остается, и дают, сколько просят, хотя нормы есть, но люди за свои деньги /10 рублей/ могут заказать

и батоны через ларек, т.к. хлеб черный, довольно плохой выпечки, кислый, и от него извога. Молодой граф австрийский Христиан фон Цацааль съедал две буханки в день, другие ели только днем с первым блюдом. Хлеба хватало. Затем привозила безмолвная /нам казалась красивой/ женщина-заключенная бак с кашей на тележке и подавала в миске алюминиевой черпак дымящейся перловой, пшеничной, яичной, гречнево-перловой, гороховой каши. Если каша, которую ^{Нё} едят/желудки не принимают/, например, перловая, то ее могут дать и два-три черпака. Повара менялись через день, на другой день привозила старенькая бабуля, та была говорлива, вольная, видимо, жизнь уже проработала в этих стенах, но говорила она, примерно, как хозяйка, дающая корм скотине, деловито и добродушно ворча, разумеется, никакой информации она не давала, а так, откроет кормушку:

- Перловка! - или
- Завтрак! Яичная!

Дежурный по камере отвечает:

- Одну, больше не надо!
- Это после ларька - не надо, а потом надо.

Садились завтракать. Каша безвкусная, сваренная на воде, чуть добавлено подсолнечного масла, да и то не всегда. Но в СИЗО ежемесячно передачи и ларек на 10 рублей. Это в зоне посыпки через полсрока, если не лишили, да ларек, если опять же не лишили, - 2 рубля, а теперь 5 рублей.

Позавтракали, ценится лук, чеснок, лимон, люди годами солнца не видят. Просоедов четыре года сидел в камере, Афонский - три, это то, что я видел, а рассказывали, что многие и не увидели белого света после нескольких лет темницы - Тарада умер от паралича после 4-х лет камеры. Лица серые, землистые, с темнотами, как в черно-белом кино.. Радуются, как дети, новому человеку, какому-то событию, а событие там, когда надзиратель-женщина скажет поварихе - "В эту миску добавьте. Ему надо". - Но также легко и почти без причины замыкаются в обиде, подозрительности, мнительности.

После завтрака идем вызовов на допросы: звук большого ключа в замочной скважине скимал все внутренности. Кормушка открывается, и рука с ключом тычет в кого-то из нас - Фамилия? - назвался. - На вызов. Это значит поведут куда-то, обычно на допросы, на очные ставки, а меня зимой 1987 года водили еще в кабинет начальника тюрьмы писать заявление, чтобы выпустили, помиловали. Арестованный /зэк, подследственный/ переодевается.

У всех обычно своя оде́жда без металлических частей, погувиц, ремней, крёчков, молний. У меня была тюремная, т.к. арестовывали в форме офицерской и ее положили сначала на склад, а затем отдали жене. Тюремная оде́жда была серого цвета, из хлопка, довольно заношенная, но стиранная и чистая.) Ботинки были тоже тюремные, фэзэушные, в виде коканых коробок с заклепками, но без шнурков и без стелек, больно кололся гвоздь, и гремел я ими так по следственным коридорам, где нет ковровых дорожек, что следователь Ренев говорил: "Вас слышно издалека, от камеры, вам шнурков не положено?" Но вскоре жена принесла, по их требованию, гражданскую оде́жду, и мне дали туфли и по половине шнурка. В стирку брали нашу оде́жду еженедельно по вторникам, стирали заключенные женщины под руководством надзирательниц, прaporщиц, возвращали отглаженными, чистым. И даже брали в штопку, починку и оде́жду и обувь. Лефортовское СИЗО - уникальное по обслуживанию. Я был еще в Саранске, Казани, Перми - везде грязь, насекомые, пропитые надзиратели, наглые, злые, но в Лефортово все отлажено, все продумано. Сидят ведь и иностранцы.

В какой-то камере зэк забынал - "Всех поубиваю!!!" - Несколько человек надзирателей, скрутив, видимо, за jaki рот, быстрынько перенесли его в другое крыло, где есть обитая мягкими матрацами /из резины, по некоторым слухам/ камера, бросают туда, и там буйный зэк бьется в истерике, пока не утомонится. Хватать - это у них четко, но больше мягко так: "Прекратить шум", "Усы сбрить", "Лечь головой к окну", - обычно все исполняется беспрекословно.

Итак, зэк, одевшись, стоит, щет, нервничает - куда? Что снова будут спрашивать? В "кормушку" спросят иногда: "Готов?" Приходит надзиратель, тот, что водит на допросы, у него на пояссе висит маленький электрический сигнальник звуковой. Дверь открывают, надзиратель становится к двери, чтобы ее заслонить и подает сигнал - Пи-и-и-и! Центральный корпусной поднимает красный или белый флаг, т.е. свободно или занято. Это для того, чтобы зэки не встретили никого из посторонних или из арестованных из других камер. Белый флаг - значит все, кому надо, ушли и никто не откроет дверь камеры и никто не поведет зэка на допросы навстречу. С этими сигналами - ПИ-и-и-и, пи-и-и-и так ведут по коридорам, чтобы и следователи знали по кабинетам, что ведут в коридоре и своих дверей не открывали и сами зря

не выходили. Если нет электросигнала, надзиратели крякают, цокают языком или стучат равномерно ключом по трубам, или щелкают пальцами, кто умеет, как мой следователь. Сигналы отработаны. Надзиратель идет чуть впереди или рядом, сигналя всем. Многие годы подследственный ходит как бы по мертвым коридорам и, кроме дежурной смены надзирателей, никого не видит, но случается, что ему организовывают "случайные" встречи, чтобы мельком в коридоре увидел он подельника или человека, которого он не ожидал здесь увидеть, и после вызванного таким образом шока тут же допрашивают или дают ему ночь помучиться в неизвестности. О такой встрече мне рассказал один сокамерник. Методов "расколоть", вынудить подследственного рассказать все у следователей, видимо, много. Но в Лефортово это обычно психологические давление и обработка, время у них практически не лимитировано. Особое положение КГБ позволяет требовать столько времени для следствия, сколько им надо, тогда как в милиции сроки жесткие, дел много, вот и методы другие, "незаконные". Так, подозревая человека в шпионаже, они в Лефортово перекапывают его жизнь, выдвигают ему второстепенное обвинение /благо нет людей в СССР, не нарушивших что-то/. Например, все дипломаты везут какие-то вещи через границу и по мелочам, и по крупному, это общепринято, они не должны только превышать каких-то норм, но, по закону, все, что не указано в таможенной декларации - контрабанда. И вот, арестовав дипломатического сотрудника /по подозрению в шпионаже/, ему два года "полощут мозги" за контрабанду, спекуляцию, валюту. Тот в недоумении, проводит факты, что "все так делают", ему отвечают, что "не все попадаются" и, когда человек, обессиленный бесконечными допросами, очными ставками, судебными заседаниями, "получает свой срок", ему вместо отправки в лагерь предъявляют то, ради чего его арестовали два года назад - шпионаж. Человек этот будет их, он раздавлен, измучен и сделает все, и расскажет все. Длительное время я видел в камере с неким А-м с такой судьбой.

С этими людьми сидеть и интересно, и тяжело. Интересно потому, что годы он жил на Западе, что в нашей безгласности многое знают из жизни "наверху", и сам он может быть интересен как человек и знаниями, и умом. Даже их цинизм был, хотя и неприемлем, но интересен. С ними и советские газеты интересно было читать. Интересны их привычки, поведение, язык. Тяжело бывает по многим причинам. Тяжело вообще непрерывно находиться с чужими людьми, да еще в тесной камере-клетке, да которая

одновременно и туалет, ведь тут же, без всяких ограждений, эта параша, и желудок у вас, может быть, не очень здоров от долгого сидения в камере и такого питания. Для того, чтобы в первый раз воспользоваться парашей надо переступить через что-то; я долго не решался даже заговорить об этом с незнакомыми мне людьми/. А если, помимо всего этого, человек еще и надоел вам хуже горькой редьки? Обострение отвожений тут не поможет - хуже будет. Да и вообще сокамерники утомлены были больше меня, и морально им было тяжелее. Я не мог осуждать их за их привычки и срывы. В основном, мне везло на людей, не бравирующих непристойностями, натянутость в отношениях возникала по разным причинам, но все было терпимо, у других, говорили, было хуже.

Три раза в неделю утром приходил Николай Николаевич, - стрыком-брэим" - надзиратель, который был и парикмахер, он разносил в чемоданчике, завинченные в металлических станках безопасные бритвы /вынуть бритву без отвертки невозможно/, помазки и зеркала. Наливал в металлические стаканчики кипяток и захлопывал "кормушку" или дверь. Мы бралились, мыли под краном все и чистое возвращали в комплекте, он проверял, складывал по ячейкам в чемодане и говорил "пожалуйста", "будьте здоровы". Кроме этого была еще библиотека, где тоже надзиратель, но ответственный за библиотеку /всякая такая специализация неизменно отражалась и на внешности, он был как бы облагорожен книгами, лицо интеллигентное, а у цирюльника - доброе, а у банщика - хлопотливое, а у охранника-поводыря - сердитое и опасливо-напуганное, а у главных надзирателей - монументально-грозные, как инструкция/. Каждые десять дней в камеру приносилось пять книг, но здесь не было большой строгости и учета, и поэтому удавалось собирать книги до десяти и менять по мере прочтения, так как попадались или тонкие, или неинтересные, а чтением хотелось увлекаться, а не мучиться им. Сначала приносили одну из двух тетрадей /"Книга 1" или "Книга II"/, где в алфавитном порядке были записаны авторы: в "Книге 1" от "А" до середины алфавита, в "Книге II" - от середины алфавита до "Я". Против каждой книги стоит в строчке номер четырехзначный или двузначный. Например: 1245. А.Малышкин "Люди из захолустья", или 52. В.Жуковский. Сочинения, том У1. Мы по этому каталогу выписываем на бумагу номера книг, всех, которые хотели бы прочитать, указываем на бумаге камеру и отдаем вместе с каталогом через "кормушку" /включив сигнальную лампочку над дверью нашей камеры/. Надзира-

тель /его там называют - контролер/, открыв "кормушку", забирает все и, закрыв "кормушку", уходит. Через пару часов библиотекарь приносит пять книг, выбранных из имеющихся в наличии /если кто просил словари или книги на английском, немецком, испанском и других языках, то мы требовали, чтобы они не входили в лимит/ с номерами, указанными на корешках. Почти все книги ставят, но подклеенные и без особых помарок, так как везде, по всей книге штампы: "Внимание, в книге запрещено делать пометки карандашом, ногтем, спичкой и другими предметами, за нарушения виновные лишаются права пользования библиотекой" или "Всякая порча книги влечет прекращение выдачи книг и наказание". Штампы говорят и о хозяине книги "Библиотека Лефортовской тюрьмы", "Библиотека ГУГБ НКВД", "Библиотека КГБ СССР". Но есть штампы особые: в некоторых книгах, например, К.Станиславский "Моя жизнь в искусстве" во всей книге на многих страницах вырезана фамилия одного режиссера, молодого новатора, талантливого и смелого и им, Станиславским, очень ценимого и уважаемого, вырезана фамилия аккуратно лезвием, и прорезь заклеена папиросной бумагой, на которой стоят два штампа - "Внутренняя тюрьма ГУГБ НКВД", дескать ее работа. Я долго занимался этим кроссвордом и установил, что вырезана фамилия - Мейерхольд. В другой книге "Письма Ван-Гога" в 2-х томах вырезана на первых страницах фамилия Эфрон, кажется, он был комментатором писем Ван-Гога. А книги старые, есть дореволюционные, но больше 30-х годов, где Гитлера называют еще "господин Гитлер" - в книге воспоминаний фон Бюлова. Некоторые книги я никогда не видел на воле, т.к. они или их авторы были запрещены в стране. Иногда я разрезал книгам страницы, так книга поэта А.Жарова, изданная в 1934 или 35 году, и через 50 лет была не разрезана, я читал там стихи о клятве автора наркому Ягоде, что граница будет на замке, и он, Ягода, может быть спокоен. Тогда же, в камере, я прочитал в "Правде" некролог о смерти этого поэта. Как-то, подбирая книги, я выписал "Слово о полку Игореве" и тут же обратил внимание на другое "Слово о горе Благодать". Зашелся, выписал, принесли и оказалось - о счастливых героях сталинских пятилеток и уральской горе Благодатной, давшей стране богатые залежи железной руды. Но можно было удовлетвориться и классикой. Книги были из личных библиотек, а хозяева их ре-прессированы, на некоторых книгах есть следы затертых фамилий.

Перед обедом обычно возвращают с допросов, гремят замки, хлопают двери, звенят посуда, шевелятся в камере - обет. обет.

На обед дают первое блюдо и второе, чай мы сохраняли с утра в чайнике, укутав его одеялом, шапкой, телогрейкой или накрыв подушкой. Чай — слегка подкрашенная водичка, но довольно горячая утром, а днем — теплая, если сохранишь. Из первое дают или супы: или борщ, один раз в неделю дают суп рыбный, но тогда вечером рагу с кусочками мяса в капусте. Наличие мяса в первом блюде меня удивило, я был наслышан: в тюрьме — баланда, баланда, а здесь принесли борщ лучше, чем в московском общепите, и там крохотные кусочки мяса. И почти всегда в каждой миске будет несколько кусочеков. Видимо, их специально такими крохотными делают, чтобы всем попало. Однажды мне попало много, я пересчитал, оказалось 18 штук, и они все поместились в одной ложке. Борщ мне нравился и запахом, и вкусом, хотя с удовольствием я ел и гороховый суп. Были еще супы перловый, ячневый или щи. После первого блюда минут через несколько привезут кашу, она такая же, как утренняя, безвкусная, но вполне съедобная для меня, другие не могли ее есть.

После обеда, если вызывают на допрос, мы чтем газету. Нам разрешалось днем лежать поверх одеял, не накрываясь. Принесли во второй половине дня одну газету "Правда" на все крыло тюремного корпуса и только ее. Если наша камера была первой, кто получал газету, мы разрывали ее вдоль складки и по очереди читали. Читали от начала до конца внимательно и чадно, т.к. это была единственная связь с миром. Никто ничего больше не сообщал /у всех надзирателей стандартный ответ: тюрьма справок не дает/ радио не было, только эта газета, которую мы по прочтении возвращали надзирателю, и тот внимательно осматривал, нет ли пометок или подчеркиваний, и передавал по специальной, утвержденной руководством схеме в другую камеру.

Однажды долго не было газеты, принесли после ужина. Еще ничего не подозревая, я сказал: "Опять кто-то умер", — увидев траурную рамку, и тут же воскликнул: "Черненко умер, Черненко!" вскочили сокаммерники. Дипломат говорит: "Смотрите, кто председатель комиссии по похоронам! Он и будет главой!" И, хотя за последние годы это был уже третий умерший "богородский", у нас у всех был вид лицей, отличавших на необитаемом острове и увидевших, наконец, вдали корабль. Перебивая друг друга, взахлеб обсуждали:

- Должна быть амнистия.
- Помилуют многих.

- Власть заберет Чебриков или другой, у кого реальная сила, но не старик и не из республик...

И после отбоя мы все обсуждали ситуацию, тихо и возбужденно переговариваясь.

Другие газеты и журналы, которые я пытался привезти из "психушки" - института им. Сербского - изымались.

В течении дня выводят на 1 час гулять во дворики. Прогулка, как и передача газеты по камерам, делается только по схеме. При мне в Лефортовском СИЗО прогулочные дворики перенесли из внутреннего тюремного двора на крышу, где были построены небольшие по площади, но с высоченными стенами и закрытым мелкой сеткой верхом, комнаты-колодцы. Стены двориков были шероховаты, под "шубу", чтобы не оставляли зэки надписей тайком. И никто не знает: когда, где, в каком дворике будет гулять. График-схема составляется на каждый день и, утвержденный начальством, лежит на столе у корпусного. Если выводной надзиратель ошибется камерой - чрезвычайное происшествие. Уточняют, переводят, прекращают прогулку, но все должно быть в соответствии с графиком и планом, т.е. по времени вы можете попасть утром до обеда в какой-то час или после обеда и кто в каком дворике, тоже нам не было известно. В соседние дворики никогда не выводят людей из соседних камер. На прогулке вы услышите чьи-то шаги за стеной, кашель, резкий сильный выдох, очищающий легкие от камерной застыхости. Прийдя во дворик, минут пять пьем свежий московский воздух, кажется, что он самый чистый на планете. Затем кто помоложе, пробежится, разомнется, сделает гимнастику, постоит на руках, или на голове, но без шума - любой шум и прогулка будет прекращена всей камерой. Страж ходит поверх двориков над сеткой по специальному настилу с крышкой и бдит. Зимой ходит в тулупе и в валенках. Если температура ниже - 20° - прогулки отменяются. А в камере температура всегда ровная, около 18°С. Однако часто окна плохо законопачены, и дует в щели. И мы затыкали их хлебным мякишем, но при случае почаловались начальнику режима /заместителю начальника тюрьмы по режиму/ Борису Бурдюкову, и тот распорядился утеплить окно. Пришел надзиратель, с ним зэк из тюремной службы, склеил окно поролоном и закрыл, притянув отверткой потайные шурупы. Стекла зернированные и непрозрачные, только тени от толстых решеток видно. Вверху окна небольшая фримуга, и можно чуть приоткрыть, проветрить. На прогулку, на кры-

шу мы ездили специальным лифтом, большим, с двумя отделениями и дверьми со стеклом, разделяющими узников и надзирателей. Один надзиратель приводил из камер к лифту, другой везул из лифта, третий от лифта в коридор, четвертый водил по камераам-дворикам с таблицей-графиком в руках: "Двадцать пятая!" - кричал ему третий, а он нам: "Заходи в 12-й!"

Старожилы-зэки знали некоторых надзирателей по имени и даже переговаривались, гордясь и кичась перед остальными: "Кузьмич, который час?" - Старый прaporщик Кузьмич с достоинством губернатора ответствовал: "Одиннадцатый". У Кузьмича и жена, и дочь, и зять работали здесь же. Насильно брил мне усы Владимир Ильич, курчавый, круглый прaporщик. А прaporщик Иван стоял со смирительной рубашкой рядом - такой халат с длинными рукавами. Тут же стоял корпусной лейтенант Игнатьев и еще здоровенные две прaporщика - один в дверях, другой рядом:

- Усы не положено.
- Покажите, где об этом сказано? В каком документе?
- Мы не обязаны. Садись или сядешь.

Сел, обрили, порезали тупым лезвием.

В камере воистину воплощается поговорка "голь на выдумку хитра". Нет, казалось бы, ничего: ни клея, ни мренечка какого, ни инструментов, ни крючков... но всему находят замену. Ребята в 101-й камере склеили мне пакеты под сухари, под рубашку из плотной бумаги, которую дали вместе с ларьковыми продуктами, выдавленной через тряпочку жидкостью из перловой каши. Замечательные пакеты - год прослужили, в лагерь с ними приехал. Не на чем повесить полотенце? Опять же - ларьковый или посыложный сыр имеет что-то вроде воску или парафина на поверхности. Счистили аккуратно, соскобили, скатали в шарик, прилепили обоку полки и, воткнув туда спичку, повесили мое полотенце. Крючок есть. За топчаном, на сетке, закрывающей батареи отопления, на спичках вешали нарезанные кусочки хлеба, сушили для лагеря сухари, я много насыпал себе - с ведро. Другие продукты клади на полку или подвешивали на нитках под топчаном. Нитки вытаскивали, откуда можно. Масло купленное клади в миску, раздавливали его ложкой по дну и зеливали водой, утром и вечером воду меняли. Колбасу нам продавали только конченую, которую днем с огнем не съешь, а здесь, чтобы зэк не отравил себя, давали с тем расчетом, чтобы не испортиться. И еще медработники проверя-

ли периодически, ходя по камерам, обнюхивая.

Из коробок из-под сахара делались как бы салатницы. Некоторые сорта сигарет имеют в коробках фольгу, этой фольгой обклеивалась коробка, и тогда она не размокла, а снаружи на коробке приклеивалась снять че перловой кашей /замечательный клей/ разрисованная бумажка "Сало", "Колбасы", "Печенье", "Магазин С и К^О", "Баранки-бублики" и другие ~~и другие~~ рекламные вывески из старинный манер с твердым "ять".

В бани ходили по пятницам, считали сдаваемое белье, заводили в раздевалку - шкаф из кирпича,- затем под душ из трех сосков. Кранов не было, водой руководил баник-надзоритель - не обожжешься. Маленький кусочек щелочного "хозяйского" мыла и травянистую мочалку брали при входе в душ, через 30-40 минут: "Заканчивай! Выходи!". Или медленно, в новом хлопковом белье с клеймом на кальсонах и рубашках - "СИЗО-84".

На ужин обычно приносили кашу или немного картошки. К картошке /пюре,, разбавленное водой - юденькое и мало/ давали кусочек рыбы 20-30 грамм или кусочек селедки. Есть мне хотелось всегда, но особого голода я не ощущал и худым, видимо, не был.

При "нормальной" т.е. без особых событий жизни, после ужина садились играть в шахматы, домино, шашки. Научили меня играть в покер на домино. Но, надо сказать, что народ там измучен, издерган, в игры входит с зазартом и вскоре проигрыш воспринимается как трагедия, катастрофа /а играли просто так, без вознаграждений, призов, но нет разницы: зазарт был настоящим и обиды смертельными/.

- Не смотрите на фигуры! - кричал мой сокамерник-дипломат от твоего взгляда фигуры падают! У тебя тяжелый взгляд".

Зевки фигур были обидные, явные, от невнимания, от переутомления, или человек в голове еще допрос вертит и хочет забыться, играет поэтому.

В воскресенье, когда камеры превращаются от куткой тишины в могилы, каменные сундуки, заключенные начинают что-то напевать. Дипломат - романсы, арии, русские народные или старые блестные песни. Витя, прaporщик, адъютант генерал-полковника - припевал что-то о суконной шинели или украинские народные в одной связке:

"Несе Галя воду, коромисло гнеться,
Шинель суконная, шинель походная..."

Иногда зэки по очереди вышагивают по камере малкими шагами, 4-5 шагов туда-назад, туда-назад. Долго тянеться вечернее время, но иногда увлекаемся игрой, рассказом. Иногда пишем на завтра заявления на книги, на стирку, на встречу с начальником тюрьмы, на просьбу получить что-то со склада. Бумагу для этого дает надзиратель. Иногда занимались мелкой стиркой. Постираный платочек или носки развешиваются на топчаке или на подоконнике, что хоть и не дозволяется, но уж очень платок, высихая, отглаживается. После ужина можно зачеркнуть день в календаре.

Утром у надзирателя есть обязанность брать для нарезки наши продукты. Открывает кормушку - резать есть? - Есть. Кладется доска кухонная, а лежурный по камере выкладывает на нее "Лимон порезать весь, полбетона, колбасу 3-4 сантиметра, три тонких ломтика сыра, все." Надзиратель забирает, захлопывает кормушку, большим кухонным ножом нарезает и подает в камеру. Нам нож не дается, а ножницы с обрезанными концами - после бани, и чистюля зэк их вымоет с мылом и только тогда обрезает ногти, зэки брезгливы.

Иногда после ужина приходила женщина-заключенная, дверь открывалась, она входила с ведром, молча кидала хлорную известь в парашу, надзиратель захлопывал дверь. Кран и раковину чистили зубным порошком /пасты не давали вообще, запрещено/, за чистоту иногда похваливал Бурдиков, и у зеков были счастливые лица.

Женщины волновали нас, как, я думаю, и других узников-мужчин надзиратели - женщины, хотя они и покрикивали нам в кормушку: "Тише", "Повернитесь ко мне лицом", "Покажите, что вы держите в руках" и т.д., но им не всегда удавалось держать на лице суровость. При них с большим стыдом садились на парашу или пересидели смени их. Витя лишний раз просил иголку, чтобы потрогать за руку молодую надзирательницу Таню. Как-то маленькая надзирательница /примерно мне ровесница/ стала притираться ко мне по мелочем - не так лежу, не так хожу, а на ужине попросила положить двойную порцию картошки в мою миску. Двое сокамерников удивленно посмотрели на меня, пошутили насчет тайной связи, но один после этого набычился, и я понял - приревновал, понялились натянутость, злость, а человек был вроде нормальный. А еще один раз я рассказал, как бы я, если бы позволили, разрисовал стены камеры: на одной свое село, на другой - море, а на третьей - рублевскую Троицу или другие иконы. Сокамерник, подкусав губы: "А мне ты что

оставил? А где мне себе нарисовать?" - и гневно сверкал глазами, и с обидой, и с отчаянием взирал на меня из своего угла. Я отказался от "своих" картин, и он затах.

Как-то при раздаче пищи я подал поварихе-заключенной лимон, она взглянула на надзирателя и подала миску с лимоном обратно, молча я забрал лимон, она положила в миску кашу и захлопнула кормушку. И все молча, молча, и вся любовь.

В Лефортовской тюрьме не видно природы, один камень, краска, металл. Тоска по дереву, цветку, траве такая, что о ней никто и не говорит. Возвращаясь с экспертизы из "психушки", я собрал гербарий из листьев и цветов, но в камеру мне их принести в тетради не дали. Я рассказал сокамернику В.А., не видевшему их уже три года, что в "психушке" им кормят лучше, и дворик с деревом и цветами большой, и нет допросов, и можно чуть отдохнуть, он просяил: "А как туда попасть?" - "Надо, чтобы следователь направил. Давай я скажу, что замечаю за тобой странные, например, у тебя галлюцинации..." - "Точно! Они у меня есть. Я видел у двери ребенка! И шумы у меня в голове, и сию я плохо..." - "Тогда я скажу через своего следователя об этих вещах, а ты запишись к врачу и в одно - галлюцинации,, кошмары..." - "А если они меня оттуда не выпустят?" - "Так у тебя и так статья от десяти... сам понимаешь." - "Давай попробуем?" - "Давай". На другой день я следователю "закинул" насчет "странных у сокамерника", тот никак не отреагировал, с врачом тоже не прошло. И Бурдюков не клюнул. "Косить на дурака" не получилось, сокамерник остался в Лефортово, хотя шелест листьев и травы он в галлюцинациях слышал и ребенка видел. А в "психушке" девушки температуру меряют, и обед на подноссе приносят, и масло дают... И целых три комнаты без решеток, правда, стекла в две пальца толщиной.

В Лефортово во дворик ветром иногда заносило семена клена и пока не подмели, они тешили наш взор.

Жизнь "воли" напоминала о себе иногда чуть слышным утренним и вечерним колокольным звоном. Ваня говорил, что недалеко в парке есть старая Солдатская церковь. Но чаще днем, с началом рабочего времени, запускались какие-то авиационные двигатели, видимо, установленные на стенах, и они ревели, выли, грохотали, и мы поряжком уставали от этого за день в 30-й, 26-й и 25-й камерах. В 101-й и 47-й их почти не слышно.

В государственные праздники вечером раздавался грохот салю-

та, бледные блики мерцали на непрозрачном стекле, и после каждого залпа с улицы были слышны девичьи визги и крики "Ура".

Свет в камере горит круглые сутки, только днем две лампочки, а ночью — одна, но и она яркая. Чтобы уменьшить яркость, Ваня, а в других камерах я, научившись у него, размешивал зубной порошок в мыльной воде и мазал плафон как бы белилами, он становился матовым. Иногда перегорала лампочка и к вечеру с надзирателем приходил электрик со складной лесенкой. Отверткой винтиковал шурупы, снимал плафон и менял лампочку, молча все закручивал и уходил. Ночью тяжело спать из-за света, лицо закрывать не разрешается, иногда глаза перевязывали носовым платком.

Если записывался к врачу, в течение дня вызовут с надзирателем. Еще молодой, но суровый доктор на расстоянии: "На что жалобы?" — "Желудок... Спина..." — "От желудка вам принесут таблетки, спину дома надо лечить." В другой раз: "Доктор, на ногах грибок." — "Грибок — болезнь заключенных, привыкайте". Я поклонился начальнику тюрьмы, принесли мазей, и я подлечился. После рентгена куча у меня на животе в области желудка была, как после солнечного ожога — красная и болела. Желудок болел ночами, под утро, викации приносили сразу после ужина или каша до него, я хотел принимать на ночь. Однажды надзиратель заметил, что я выплюнул толченую пиллюлю в руку. Был составлен по заявлению акт, и мне больше таблеток не давали.

Следствие не заканчивается в камере. Наоборот, это очень важная часть следственного процесса — ваше содержание, ваше настроение. Незаконные методы на следствии КГБ как раз и заключаются в том, что подследственному создаются невыносимые условия содержания. И даже по сообщениям советской печати некоторые идут на то, что подписывают себе смертный приговор, а уж признаться в "клевете"... Людей в камеры подбирают, некоторые, видимо, получают задания. Сокамернику якобы дают свидание /на следствии!/, провоцируя тем самым его соседа написать письмо для передачи на волю: по этим письмам следствие иногда переквалифицирует статью обвинения на более тяжкую, т.к. адресат часто помогает установить новые факты или эпизоды. Так рассказывал о себе Ю.Ш. Более опытные ээки влияют на менее опытных. Невыносимые мучения в камере от идиота противопоставляются мягкой ласковости в кабинете следователя. Следователь заваривает хоро-

ший, душистый чай, угощает печеньем, сушкиами, конфетами /фентики изымаются/, сигаретами. Мирная, почти теплая беседа, но для иных она заканчивается белой камерой и расстрелом /предсмертная камера абсолютно белая, нет ни пятнышка, стерильность мертвая во всем, я провел там временно одни сутки в ожидании другой камеры/.

Как-то в самом начале следователь мне сказал: "У вас здесь написано, Григорий Петрович: не верь, не бойся, не проси - но поймите, что вы себе хуже делаете, ведь у вас, по вашей статье, срок от шести месяцев до семи лет и плюс пять лет ссылки. Зачем вам такой срок, зачем? У вас семья, родители почилые. Подумайте и давайте показания, подпишите протокол... А?" Я думал, конечно - никогда и никому они не говорят правды. По лжи живут. Я им не верил и не ошибся. Пусть, что хотят, то и делают. И они делали. Характерный и пралестный эпизод. Следователь Ренев, задавая очередные вопросы и сам же на них отвечая,, насмешливо приподнял ⁴³ папки лист бумаги с текстом и брезгливо прочитал: "И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы!" Взглянув на меня, ухмыльнулся: "Определено мне чудной властью", - мистика какая-то, Григорий Петрович. Вы себя считаете как, душевно здоровым? Нормальным? Это же, извините, заставит любого усомниться." Затем с уничтожительной, полной достоинства и силы Высшей Правды улыбкой осмотрел меня, снова посмотрел на этот лист с текстом и, вкладывая его беречно /вещественное доказательство!/ в папку, сказал с величавым отеческим осуждением-укором: "Сколько же злобы у вас здесь, Григорий Петрович, неучили вы так ненавидите нашу страну, советскую власть, здесь все в черном свете, и ладно бы сам ненавидел - вы же и солдатам это зачитывали, передавали им, еще иным душам, такую гнусную клевету на нашу действительность... Да кто у нас плачет? Какие слезы? Народ живет, радуется жизни, это вы, вот такие, злобствуете! - Он искренне вздохнул: "Придется отвечать, Григорий Петрович, придется отвечать по закону, для нас есть законы, мы обязаны... так-то вот, чернить нашу жизнь, наш строй мы вам не позволим, и весь народ это одобрят, поймет. Закончится это сроком, и, я думаю, немалым, при такой вашей позиции на следствии... Но это решит суд, ему решать, мы только соберем факты, а их у нас

достаточно, эти пасквили говорят о вашем подлинном лице. Вы злобный антисоветчик, злобились на страну, на людей, начитались Солженицыных, "Посевов", "Октябрьских дней" всяких, наслушались белиберды из "голосов" вот и сидите теперь... "чудной властью", хых! "- вместо смеха следователь удовлетворенно выдыхал, улыбался, но глаза зорко следили за мной, в душе он был глубоко равнодушен ко мне - работа просто, как у всякого чиновника. То, что этот текст принадлежит Н.В. Гоголю у меня не было указано. Им же укорял меня и судья, полковник Зубков на судебном заседании военного трибунала - "антисоветская клевета". Так русская классика и пошла обвинением - Гоголь, Бунин, Солженицын.

Мои объяснения не помогали мне, ибо не дослушивали, так как, видимо, не имели от кесаря разрешения слушать и вникать, а они хотели быть друзьями кесаря.

Почти ничего из вещественных доказательств того, что у меня был "Архипелаг Гулаг", у следователя не было, кроме фотографии А.Солженицына, но среди изъятых при обыске квартиры всяких бумаг с записями была фотография офицера М., моего бывшего сослуживца, который писал доносы в КГБ /особый отдел Советской Армии/. Писал он эти доносы с целью убедить политотдел и КГБ в своей политической преданности и повышенной бдительности, т.к. ему не разрешали по какой-то причине ехать за границу, где есть законные льготы и достаточно легкие способы обогатиться и выйти в чины. В конце концов он поехал в Афганистан, но вскоре там провинился, и его, исключив из партии и понизив в должности, возвратили в СССР, где он уже на очной ставке, при мне, напомнил моему следователю о своих заслугах перед КГБ и строго задавая мне вопросы: каким образом его доносение в КГБ на меня оказалось у незнакомого ему Мейланова и у меня. В упомянутом донесении он сообщал, что я в общем-то неплохой, но допускаю вредные высказывания, не соответствующие партийным установкам, и даже идущие вредные, но меня вполне еще можно поправить. Так вот, на обратной стороне его фотографии я, когда узнал о его доносах, написал цитату из "Архипелага Гулага" из главы "Стук, стук, стук о стукачах", что они такие че, как и мы, с мерой злобы, и мерой добра, и что именно поэтому мы попадаем в их сети и т.д. Под цитатой стояли инициалы А.И.С. Разумеется, это могло быть уликой для следствия - моей рукой переписанный из "Архипелага Гулаг" текст. Мною, по крайней мере, это так воспринималось. А

для чего же еще им понадобилось изымать по протоколу эту фотографию при обыске? Каково же было мое изумление, когда при знакомстве в конце следствия с томами "дела" я не нашел этой фотографии, но увидел акт, по которому возвращалась чене "фотография с текстом, не имеющая отношения к делу".

Закрыв глаза и уши, кричали: "Распни! Распни его!".

Приходя в кабинет следователя, я только и слышал: - "Вас мало сейчас просто арестовать, вас мало судить... Вы наносите такой вред нашему обществу, нашей стране, что...". - "Вы должны быть еще благодарны, что у вас такой /подразумевалось - хороший/ следователь", - говорил мне полковник КГБ Роберт Улунцев.

Во время допроса как-то в кабинет вошел другой человек, в штатском, и, услышав мои ответы следователю, сказал: "У меня бы ты заговорил. Заговорил бы! Я бы тебя месяца два подержал на голодном пайке, заговорил бы..." - с нескрываемой злобой посмотрел на меня и вышел. Ренев, улыбаясь, продолжал читать протокол моего допроса.

И в камере мне тоже говорили веско и наставительно: "Им можно доверять, они не обманут, зачем накручивать срок себе, пусть другие сидят, глупо!"

Изо дня в день - увещевания, угрозы чередовались, меняя оттенки, место и "воспитателей", но сокамерники тоже люди, и они многое понимали, а некоторые и больше меня знали "их правду". Всякие в камерах встречались лица. Подавляющее большинство делилось своими продуктами, можно сказать - все, и я делился, но делить-то мне практически было нечего. Когда я рассказывал этим валютчикам и контрабандистам о том, что я жил хорошо, ибо с какой мы получали больше трехсот рублей, они хохотали - "Да я в беню брал пятьсот рублей!" Впервые в тюремной камере я увидел и попробовал некоторые виды колбас - сухие финские, венгерские салами, итальянские... Из своих передач они угождали меня невиданными конфетами, специальными витаминами... Я мог поделиться только чесноком, луком с маминого огорода, или салом крестьянским.

В лагерь я ждал отправки /в два посещения Лефортово/ - дважды, но, поскольку перед отправкой меня на две недели переводили в другую камеру, то и проводили меня в лагерь четыре раза. Каждый раз сокамерники собирали меня в дорогу, укладывали вещи, щедро наделяя продуктами, расчувствовавшись, некоторые плакали. Освободиться от следствия и допросов в лагерь - тоже освобождение. Да-

вали мне, некурящему, сигареты - "отдашь там зекам в дороге, в зоне." Свою колбасу, лимоны, сахар... - "бери, бери - нам еще принесут, купим, а тебе еще не скоро, через сколько лет еще... Счастливо тебе там, ты, может быть, и прав, наверное, прав, у каждого свое..." Извини, если что не так..." Мы целовались, А-й лил слезы. Радовались за меня, что иду на свежий воздух... хоть и не на свободу, но на свежий воздух... Ничей их доли пока не знаю. Но мы договаривались, что, если я еще не отправлен в лагерь, я сделаю условный сигнал, и они будут знать, увезли меня или я еще в камере Лефортово. Сигнал срабатывал.

Тяжело было иногда, когда донимали и допросы, и увещевания, и советы. Я тогда просто упрямился - отключал сознание и не соглашался. Работали уже подсознательные чувства неприязни к ним, хотя я никак этого не выражал. Но иногда во время допросов приходили люди почтенного возраста, полковник КГБ, полковник-прокурор, спокойно говорили, что признают "многие несовершенства нашей системы", что и им это неприятно, что "надо бы что-то сделать для ее улучшения", доверительно становились чуть ли не моими единомышленниками, и у меня, я чувствовал, как исчезли и неприязнь, и недоверие. А они дружески говорили, что плохо все, плохо, но что уж сейчас, в данный момент сделаешь, пока станет лучше, дочь вырастет без отца, родители не дощатся /отец так и не дощался/. Сейчас важно выйти из заключения к семье, а уж...

Со стылом вспоминаю свою чалкую улыбку, виноватую уж. Действительно, а что, ведь правда, я не политический лидер-деятель, я - никто, я - маленький человек. Они тоже не глупые, разберутся, я ведь не совершил ничего, ну что уж тут такого: почитали Солженицына, ну покритиковали... да кто ее, эту власть не ругает? Срок-то зачем? Вот и эти тоже признают, критикуют... Да не буду я их больше читать, книг этих, и что мне до несовершенств системы? Пропади оно все пропадом, пусть только выпустят из этой могилы...

К счастью я этого не сказал и только из упрямства молчал, а потом, придя в себя, радовался этому, и росло убеждение, что именно такое оно зло, честокое в бездушии, в желании чукой моральной смерти. И эти люди в КГБ не всегда такими были, а теперь уже не хотят быть другими, уж и боятся быть другими... Надо выправиться, не бойся, встань, расправься, Бог поможет, смотри на мир Божий и помолись. Молитвой я и возвращался к жизни.

Конечно я боялся, и страх не оставлял меня. Я боялся за друзей, за близких, особенно за мать. Мне сказали, что обыски проведут у многих и книги найдут, и я представлял, как по моему делу приходят к людям, в их дома, роются в их вещах, вынимают при понятых какие-то интимные вещи... ужасно, ужасное унижение людей по моей вине.

Мама была убеждена, что меня честоко бьют /какой советский крестьянин не убещен в этом - всю жизнь были, с колхозов первых как начали.../. Политический в ее представлении /хотя ей и сказали, что взяли меня за хулиганство, но искали-то и спрашивали - книги/ это - Соловки без суда, откуда так и не возвратились наши односельчане, и до сих пор у нас в селе непослушного ребенка пугают, что "запишут к белым медведям" или в Сибирь, на Дальний Восток, откуда единицы вернулись со страшными рассказами о перенесенных мукерствах да смешными непонятными словами местных народностей - "синаминара", "синаминада". И вот сейчас была беда над ее сыном, обезумевшая от горя, она, нагрузившись мешком с салом, луком, чесноком, яблоками, ходила по Москве, высматривая, где "политична тюрьма" и "де мий сын"?

Сейчас в апреле 1988-го года, не веря разумеется, ни в какую перестройку, она мне пишет в письме в Загорск с Украины: "Письмо пришло, ходило по всему селу, разорванное, читали, кто хотел... Не пиши никому, ничего не пиши, тебе не нужно это, сам себя береги... некому что говорить и писать, тебя никто не почтлеет, все в стороне будут..." Непривычная письму рука крестьянки выводит в труднопрочтимых словах эти страшные просьбы. Обреченность. Ее били весь век, вгоняли в рабство с ребенка: вселенским голодом 33-го года, выселениями бесследными и тихими ночными репрессиями, "волонтаристским" ограблением убогих крестьянских дворов, вельможным чванством "застоя"... нет властям веры, нет веры и людям, обреченность, страх, страх. И уже моя маленькая дочь-подросток, ее внучка, приняла эстафету тюремных стен, коротких свиданий в камерах, сытых надзирателей, стыдливо прикрытых естественными и искусственными оградами тюрем и лагерей страны. Посмотрите на советского крестьянина /да и на него ли только/ - что в нем от человеческого достоинства осталось, от уверенного в себе хозяина /которого еще показывал на сцене Ф.И.Шаляпин в образе Мельника/, сейчас уж и образ не воссоздать. Раб, и все в нем рабское - урвать, украсть, затаяться, молчать, помалкивать..

да еще в запой дома. Повадки, помогшие ему выжить, он и передает своим детям: "некому чего говорить и писать..." Может и вправду не надо бы описывать все, рассказывать... Пусть как было, пусть как мать просит, кому это надо. И продолжаем: лжем себе и другим, лжем, обманываем везде, миру, стране, соузнику!..

А террор КГБ ведь продолжается, и даже если не берут в камеры, то своим наличием, своим тайным, зловещим существованием, дамокловым мечом висят они над головами народов этой страны.

Руководителем следственной группы по моему делу был полковник Улунцев Р.Г. В группу входили следователи по особо важным делам КГБ СССР майоры Ренев В.В., Краснокон Л.И., капитан Ермаков А.И., им помогали майор Сысоев В.С. из особого отдела армии, какой-то Олег Александрович в Киеве и много еще в других городах. Следствие проводилось тщательно и с размахом: добросовестные обыски, разъезды, исследования, проверки, экспертизы, допросы. Бумаги складывались в толстые тома и подшивались, получилось семь томов. Только протоколов допросов свидетелей приложено к "делу" около ста, но столько же, если не больше, не было к нему принято из-за отсутствия в них нужных КГБ показаний. А по географии следствие простипалось от Хабаровска на Дальнем Востоке до Риги в Прибалтике и Львова на Украине, Кавказ, Средняя Азия, Центральная Россия... Такие масштабы: допросы первой учительницы, друзей юности, с которыми я не виделся уже около 20 лет - поражали и потрясали воображение. Я ведь уже позабыл и фамилии некоторых из этих людей и не смог бы вспомнить их и при желании. Многие в страхе от КГБ и слов "особо опасное государственное преступление" откращивались от всего, даже от обычных приветов через родных или друзей. Человек советский вообще цепнеет от всяких удостоверений личности тайных и явных репрессивных органов, темных, зловещих немеков, а здесь прямое подозрение в тесной связи с "особо опасным государственным..." - "Нет, нет, нет! Ничего, никогда... Я вообще... да вы что! Я только за наши идеи, за нашу власть, за советскую, я никогда... Это он мог, а я нет, никогда..."

В "дале" плохих и хороших показаний свидетелей примерно половина. Ведь были люди и другого порядка и не только те, показания которых оказались в деле. Протоколы многих к "делу" не приложили, так как ничего плохого они не захотели сказать: 80-летний старик, бывший политический узник, проведший в лагерях Гулага 10 лет с 37 по 47 год, молодые бывшие солдаты: крымские татары,

украинцы, узбеки, русские, евреи, персы - разные люди, разных вероисповеданий, мировоззрений, возраста... они понимали, с какой организацией имеют дело. Совершенно неожиданно для меня бывший комсомольский работник, секретарь партийной организации мой бывший старшина роты, прапорщик Веня И-н заявил на следствии /и я прочитал в протоколе/: "Я считал и считаю Кущенко порядочным человеком..." Это было вызовом... Меня удивило именно то, что он, человек честный и добрый, до этого безоговорочно верил только партии. Чтобы заявить такое надо было многое пережить.

Бывает, что мы растем резко и неожиданно для нас самих. В показаниях своего подчиненного прапорщика Новаковского я вычитал: "В своей служебной деятельности Кущенко опирался на недисциплинированных воинов, именно поэтому часть ^{молодых солдат} младшат выразила недовольство его арестом". Я бы очень хотел видеть этих "недисциплинированных" воинов, и как это много для нашей страны "выразить недовольство".

Некоторые, особенно гнусные свидетельские показания, я, выписав их на отдельный листок, зашил в ботинок. При отправке в лагерь обыск был целевым, ботинки взяли от меня /и только их/, унесли и затем Бурдюков привнес и ботинки, и бумажку: "Несолидно, Григорий Петрович, взрослый человек, а в ботинок зашиваете, обманываете! Несолидно." Мне было стыдно, ей-Богу покраснел от стыда, виновато укладывал свои тряпки после обыска и молчал. Хотя не спрятанные записки о камере этот че Бурдюков отобрал пару часов тому назад: "Не положено, нельзя, Григорий Петрович, но ваш стиль мне понравился, мне понравилось, как вы пишете". - "Да ведь там ничего плохого..." - "Не положено!" Администрация всегда помнит, что говорит и знает, что говорить узнику. Бурдюков на какую-то невинную просьбу ответил любимым изречением: "Я люблю смотреть на тюрьму из окон своей квартиры, а не наоборот".

На суд меня вели на трех машинах. Меня, укутав в тулуп и фуфайки /видимо, чтоб не заболел от холода и не сорвал спектакль/ вели в тюремном микрозвтобусе с тремя охранниками и водителем. Впереди на "Волге" ехал заместитель начальника тюрьмы подполковник Б.Бурдюков, а в задней машине, тоже легковой, ехал врач и какие-то лица в штатском. Дорогой мне были слышны из моего металлического стакана в микрозвтобусе строгие команды через громкоговоритель: "Освободить дорогу! Остановите машины! Водитель ~~такой-то машины~~, возьмите вправо и остановитесь!" Все исполнялось, ~~такой-то машины~~ всегда все здорово и остановок.

кой-то машины, возвращайтесь вправо и остановитесь!" Все исполнялось, т.к. ехали мы всегда без задержек и остановок.

Отправили меня из Лефортово в лагерь ночью, передали по опи- си дорожному конвою, как вещь. Погрузили в воронок и повезли на какую-то станцию железной дороги, глухую, темную с волкодавами и прожекторами.

При отправке мне дали в плотную бумагу завернутую буханку хлеба, несколько кусков мяса, чай, сахар, соль в кулечках. Был великий пост, и к изумлению бытовых зэков, я стал угождать им в вагоне этой едой: "Вот это кормят! Мясо!! и чай!! Да ты что?! Ты откуда?" Им на дорогу дали соленую с ребрышками на животе кильку и хлеб. "Какой сахар!!! Какой чай!!!" Чай этот, небольшую горсточку они разделили по-братьски между собой и жевали сухим. В дороге охрана предлагала им чай "за копейку". Я поинтересовался, как это, и мне сказали - 5 рублей сорокакопеечная пачка.

Уголовный мир, с которым пришлось встретиться, был мне совершенно незнаком. Не понимал я многого в их языке, в их терминологии, в их традициях и законах. И это они обнаруживали во мне с первых моих слов, так как по внешности я был такой же, как они - серый, грязный, обросший щетиной, разве что упитанней я был, да таскал, кроме мешка с вещами-тряпками, еще два деревянных больших чемодана-ящика с книгами. "Шурики", как называли уголовников в политическом лагере, большей частью ехали с маленькими мешочками-торбочками или же без них вовсе /чем авторитетнее "шурик", тем меньше багаж/, завиляя меня, перегруженного вещами, забывали даже "понятие" /закон/ не обсуждать и, тем более, не осуждать другого зека, не зная его, начинали шутить: "Ну ты и набрал, что ты там везешь? Угости, что ли!" Развяснять, что это книги, я перестал сразу, так как это вызывало еще больший интерес ко мне, распросы и бесчисленные жалобы на "коммунист проклятых". Мир воли, к которому они не принадлежали и который был им враждебен, неправедный, и честокий и равнодушный приносил им грязными ругательствами и уничижительными эпитетами.

Когда я встретился с уголовниками в первый раз, они, узнав, что я "политик", наслышанные якобы всевозможности каждого из нас, о том, что политические - это заступники гонимых и угнетенных "коммунистами" - изливали мне свои чуткие истории, о беззаконии властей, глумлении, изувечествах над заключенными, беспросветности жизни вышедших из лагерей... я был буквально раздавлен этими рассказами-жалобами и не знал, как это можно вынес-

ни, не став равнодушным к ним. Я, конечно, ничем помочь им не мог, разве только выслушать, но это трудно было просто слушать, я перекивал и болело сознание, я был угнетен... Поэтому я избегал потом говорить им свою статью, да и вообще вступать в общие беседы, разве что поодиночке, когда сидели в "отстойниках" /небольшие каменные стаканы, в которых по несколько часов ждали разрешения вопроса, в какую камеру посадить/. Часто наши передавали им свои письма, бумаги и те отправляли их по адресу, почти всегда они доходили по назначению. Мы были в суровых тисках цензуры и даже законные 2 письма в месяц конфисковывались под надуманными предлогами. Среди уголовников были самые разные люди: безмолвные, спавшие целыми сутками, совершенно ко всему равнодушные, кроме, может быть, еды. Спит и спит себе в углу у парши, чтоб никто не потревожил /на это место ведь никто претендовать не будет, кому понравится спать около туалета/. Укрыл голову фуфайкой, котомочку под голову, свернулся калачиком и как бы в своем мире, в себе... А другой не присядет и не умалкнет во весь день, и все-то он знает, во всем разбирается, и котомуку у слабого проверит, и другого в очко объегорит, и начальнику права покачает, но все это так, от чего делать. Ничто не делается у него с целью, время уходит, душа мается, а ни "газа", ни "колес"/таблеток каких-нибудь/ нет, чтобы облегчить томление. Попривыкнешь - люди как люди, я ни одного не видел, чтоб, как у Достоевского, в цепях держать надо. Агрессивности не было ни у кого; обмануть, украдь, сыграть роль - это доблесть, это всеми понималось, одобрялось. При мне играли в очко: у одноглазого зека по прозвищу Нельсон карта лишняя в рукаве и на шее. Перед ним сидел не новичок, но Нельсон играл мимикой, чувствами, руками; конечно, когда хотел, проигрывал, но всегда выигрывал в конце. И соперник сокрушался, говорил, что Нельсона обмануть не удастся, что Нельсон - известный плут. На что Нельсон, смеясь, показывал руки, считал карты, уверял в невинности, сокрушался по поводу своей фатальной везучести и снова плутовал, выигрывал. Все камера видела у него на шее карту, и принимала это как совершенно законное, спектакль игры всех веселил, смеялись над проигравшим.

У Нельсона, кроме глаза, не было еще и половины легкого, он был сухощав, но в нем чувствовалась неимоверная сила духа. Видимо, он жертвовал этими своими частями тела, органами в доказа-

ни, не став равнодушным к ним. Я, конечно, ничем помочь им не мог, разве только выслушать, но это трудно было просто слушать, я перекивал и болело сознание, я был угнетен... Поэтому я избегал потом говорить им свою статью, да и вообще вступать в общие беседы, разве что поодиночке, когда сидели в "отстойниках" /небольшие каменные стаканы, в которых по несколько часов щали разрешения вопроса, в какую камеру посадить/. Часто наши передавали им свои письма, бумаги и те отправляли их по адресу, почти всегда они доходили по назначению. Мы были в суровых тисках цензуры и даже законные 2 письма в месяц конфисковывались под надуманными предлогами. Среди уголовников были самые разные люди: безмолвные, спавшие целыми сутками, совершенно ко всему равнодушные, кроме, может быть, еды. Спит и спит себе в углу у парши, чтоб никто не потревожил /на это место ведь никто претендовать не будет, кому понравится спать около туалета/. Укрыл голову фуфайкой, котомочку под голову, свернулся калачиком и как бы в своем мире, в себе... А другой не присядет и не умалкнет во весь день, и все-то он знает, во всем разбирается, и котомуку у слабого проверит, и другого в очко объегорит, и начальнику права покачает, но все это так, от чего делать. Ничто не делается у него с целью, время уходит, душа мается, а ни "газа", ни "колес"/таблеток каких-нибудь/ нет, чтобы облегчить томление. Попривыкнешь - люди как люди, я ни одного не видел, чтоб, как у Достоевского, в цепях держать надо. Агрессивности не было ни у кого; обмануть, украдь, сыграть роль - это доблесть, это всеми понималось, одобрялось. При мне играли в очко: у одноглазого зека по прозвищу Нельсон карта лишняя в рукаве и на шее. Перед ним сидел не новичок, но Нельсон играл мимикой, чувствами, руками; конечно, когда хотел, проигрывал, но всегда выигрывал в конце. И соперник сокрушался, говорил, что Нельсона обмануть не удастся, что Нельсон - известный плут. На что Нельсон, смеясь, показывал руки, считал карты, уверял в невинности, сокрушался по поводу своей фатальной везучести и снова плутовал, выигрывал. Все камера видела у него на шее карту, и принимала это как совершенно законное, спектакль игры всех веселил, смеялись над проигравшим.

У Нельсона, кроме глаза, не было еще и половины легкого, он был сухощав, но в нем чувствовалась неимоверная сила духа. Видимо, он жертвовал этими своими частями тела, органами в доказа-

кет с испрекнениями.

- Начальник! В туалет надо! Открой, начальник! - эти просьбы звучали постоянно. И когда офицер возвращал, в туалет шли все, кому надо и не надо, ведь ближе к туалету 2-3 "хаты" были женские, и были смотрины, "крутилась любовь". В те мгновения, когда узник проходит мимо женщин, женщины /у них приоритет в выборе/ выбирают себе "любовника", а затем, узнав имя и "хату" уговаривают солдата из караула отнести записку в "5'хату" Вите. Обычно всю дорогу солдат-караульный укладкой от офицера и носит эти "исивы" - записки. Когда я как-то проходил, меня из женской "хаты" спросили имя, я ответил. Вскоре охранник искал Гришу и передал мне записку от Тани. Несколько часов мы писали друг другу комплименты и договорились, что, если я буду еще раз проходить мимо, она отзовется. Так и случилось, я увидел болезненное, землистое лицо немолодой женщины, волосы были слиншииеся и тоже цвета темного пепла. Я написал ей, как мне казалось, нежное письмо и говорил ей, что мне особенно понравились ее глаза /я не лукавил/. Она была москвичка и, как писала, из торговли. Больше мне переписываться не случалось, но однажды, когда я проходил мимо женской "хаты", услышал шепот: "Вот, вот он!" - и другой голос: "Да он же старый!" Первая /здоровая, скучастая девушка/ сказала: "Да какой же он старый! Он не старый. Ой, приветик!" - и помахала мне рукой. Я улыбнулся ей, мне она показалась хорошей и милой, но мы не переписывались, только смотрели друг на друга, когда я проходил мимо. Однажды веселый караул позволил девушкам пройтись по тамбуру перед зарешеченными мужчинами. Прошли только 2-3, которые были, видимо, уверены в себе. Они были действительно красивые и здоровые, смущенно улыбались и были горды тем, что ими так восхищается много мужчин. Женщины-узницы мне показались более скромными и целомедренными, чем на воле. Мне их всех было очень жалко.

Через сутки после начала первого этапа я был уже в Мордовии на станции Потьма. Камера пересыльной тюрьмы была черной от копоти, горя мусора, насекомые, зловоние. На грязных нарах в одечке лежали зеки, курили, плевались, играли, один у дверей постоянно звал начальника, но никто не приходил. Было нас уже в камере около тридцати человек. Вскоре принесли и пищу, настоящую лагерную - мутная водичка с плавающими разваренными крупинками пшена...